

## СТАНИСЛАВ МОРАВСКИЙ О ПУШКИНЕ<sup>1</sup>

(Из записок польского современника поэта)

Доктор Станислав Моравский, автор записок, из которых глава, касающаяся Пушкина, здесь полностью помещена в русском переводе, родился в 1802 году в Мицкунах, близ Вильны, и был сыном крупного польского помещика Аполлинария Моравского, бывшего камергером последнего короля польского Станислава-Августа Понятовского. В 1818 году Станислав Моравский окончил уездное училище в Ковне, славившейся тогда образцовой постановкой обучения и воспитания, то самое, в которое через год молодой Адам Мицкевич поступил преподавателем. Вопреки обычаям своей аристократической среды, шестнадцатилетний Моравский, уступая воле деспотического отца, записался на медицинский факультет Вилен-

---

<sup>1</sup> Впервые сведения о воспоминаниях Моравского о Пушкине и перевод части их даны Н. О. Лернером в статье „Новое о Пушкине“ в „Красной газете“, вечернем выпуске, № 218 (1988) 18/XI—1928 г., когда эта статья уже была заказана П. Д. Этингеру. Прим. ред.

ского университета, где занимался у знаменитого проф. Иосифа Франка<sup>1</sup>, и в 1823 году, по представлении диссертации о диабете, был удостоен звания доктора медицины. Хотя Моравский участвовал в тайных студенческих кружках, состоял членом обществ Филаретов и Филоматов, — по некоторым данным, он принадлежал и к масонской ложе. „Ревностный литвин“ (gorliwy Litmin) — он каким-то чудом, а быть может, благодаря связям избег ареста и высылки, которым подверглись многие его товарищи, когда в 1824 году начались гонения на студенческие организации Виленского университета.

Ближайшие годы Моравский проводил в Вильне, где молодой, эlegantный и остроумный медик пользовался большим успехом в местном обществе, отчасти же — в родовом имении отца Устроне в Троицком уезде. В 1827 году он впервые посетил Петербург, а в 1828 г., поссорившись с отцом и не желая больше материально от него зависеть, окончательно переехал на жительство в Петербург, чтобы там заниматься практикой и создать себе самостоятельное положение.

Благодаря связям и отчасти протекции известного придворного хирурга Н. Ф. Арендта он довольно быстро в этом успел. Вращался Моравский в Петербурге преимущественно в польском обществе, где у

---

<sup>1</sup> Иосиф Франк (1771—1842) вместе с своим отцом, известным медиком Иоганном Петром Франком, в 1804 г. из Вены был приглашен профессором в Виленский университет, где оставался до 1823 г. и воспитал целое поколение врачей.

него оказалось немало виленских знакомых и друзей. между прочим и ряд товарищей по университету, как, например, Францишек Малевский<sup>1</sup>, со всей семьей которого молодой доктор был очень дружен. Близко он сошелся с О. П. Сенковским, с живущими в Петербурге польскими художниками Александром Орловским<sup>2</sup>, Олешкевичем<sup>3</sup> и Ваньковичем<sup>4</sup>, которым позже посвятил в своих воспоминаниях отдельные главы, равно и с некоторыми польскими литераторами. Особенно часто Моравский бывал в доме

---

<sup>1</sup> Франц Семенович Малевский (1800—1873)— выдающийся юрист, сын ректора Виленского университета и один из ближайших друзей Мицкевича. Малевский был заведующим „Литовской метрикой“ в Петербурге и здесь основал польский журнал „Tygodnik Peterburgski“.

<sup>2</sup> Александр Юсипович Орловский (1777—1832)— знаменитый рисовальщик и литограф, родился в Варшаве, где был учеником французского художника Норблена де-ля-Гурден, в 1807 г. переехал в Петербург, где жил до конца своих дней.

<sup>3</sup> Иосиф Иванович (Антонович) Олешкевич (1777—1830)— живописец-портретист, родом из Жмуди, художественное образование получил в Париже, в 1812 г. удостоен был Петербургской академией художеств звания „академика“. Скончался в Петербурге.

<sup>4</sup> Валентин Мельхиорович Ванькович (1799—1842) (в составленном С. Н. Кондаковым „Юбилеем сирочничке Имп. академии художеств 1764—1914“ (Пет., 1914, том. II, стр. 30). Ванькович ошибочно назван Викентием) — живописец-портретист, в 1824 г., поступил в Петербургскую академию художеств, в 1832 г. „назначенный по портретной живописи“. Скончался в Париже.

Марии Шимановской<sup>1</sup>, дочери которой впоследствии вышли замуж за вышеупомянутого Фр. Малевского и Мицкевича.

Когда в 1830 году для борьбы со вспыхнувшей на востоке России эпидемией холеры была назначена специальная комиссия, Станислав Моравский был к ней причислен и должен был отправиться в поволжские губернии, откуда вернулся в Петербург лишь через год. В 1833 году он стал врачом Статс-секретариата Царства Польского, но в 1835 году вдруг закончил свою врачебную карьеру и перешел в законодательную комиссию в качестве переводчика „Свода законов“ на польский язык. Однако уже в 1838 году Моравский, после кончины отца, подал в отставку и навсегда поселился в родовом имении Устроне, где скончался в 1853 году. Все эти годы жил он одиноко, занимаясь хозяйством и литературой, главным образом составлением своих мемуаров.

Литературную свою деятельность Моравский начал еще в Петербурге, поместив несколько статей медицинского характера в редактировавшемся Иосифом Пржедлавским<sup>2</sup> польском журнале „Тыгодник петер-

---

<sup>1</sup> Мария Шимановская, урожд. Валовская (1795—1831) — знаменитая в свое время польская пианистка, салон которой посещало все высшее общество Петербурга. В женитьбе Адама Мицкевича на ее дочери Целине Шимановской Моравский сыграл своего рода роль свата.

<sup>2</sup> Интересные воспоминания Пржедлавского под псевдонимом „Цыпринуса“ о данной эпохе печатались в „Русском архиве“ в 1872 г.

бургски“ и в издаваемой Сенковским „Библиотеке для чтения“.

Все рукописи Моравского, написанные в Устроне, в свое время принадлежали известному петербургскому адвокату и историку литературы Владимиру Даниловичу Спасовичу, опубликовавшему отрывки из них в польских журналах; в настоящее время все подлинники литературного наследия Станислава Моравского хранятся в майоратной библиотеке Красинских в Варшаве, и значительная их часть недавно издана в двух томах. В 1924 году варшавское издательство „Библиотека польска“ выпустила первый об'емистый том воспоминаний Моравского, касающихся его виленского периода<sup>1</sup>. В них развернута широкая картина виленского быта в годы 1818—1825, с его главными персонажами. Центральное место тут занимают начатые Новосильдевым гонения на виленских студентов, аресты их и последующие процессы. Следующий том воспоминаний (вышел в 1928 году в издании познанской фирмы „Выдавництво польске“, под заглавием „В Петербурге“<sup>2</sup>, обнимает годы 1825—

---

<sup>1</sup> Stanisław Morawski. Kilka lat młodości mojej w Wilnie 1818—1825. Wydali Adam Czartkowski i Henryk Mościcki. Warszawa. Instytut Wydawniczy «Biblioteka Polska», 1924. Стр. 541 + 24 иллюстрации.

<sup>2</sup> D-r Stanisław Morawski. W. Peterburku 1827—1838. Wspomnienia pustelnika i koszalki — kobialki. Wydal Adam Czartkowski i Henryk Mościcki. Wydawnictwo Polskie. Poznań. у. г. 370 стр. + 18 иллюстр. — «Peterburk» вместо «Petersburg» — литовский провинциализм.

1838, когда автор жил на Неве. К мемуарам, посвященным подзаголовком „Воспоминания отшельника“, первая глава которых посвящена Александру Сергеевичу Пушкину<sup>1</sup>, в данном томе еще прибавлен ряд анекдотов и мелочей полубеллетристического характера. Оба тома, прекрасно изданные с внешней стороны, приготовлены были к печати Адамом Чартковским и Генрихом Мосъцицким, которые снабдили воспоминания Моравского множеством об'яснительных примечаний и заметок, кратким жизнеописанием автора и очень удачно подобранным иконографическим материалом.

Несмотря на подчас утомительную велеречивость доктора Моравского, излишнюю, быть может, любовь его к сплетням и непроверенным анекдотам, записки его, конечно, представляют недюжинный интерес и обладают несомненной ценностью настоящего „человеческого документа“ для 20-х и 30-х годов прошлого столетия. Здесь не место подробнее останавливаться на целой галлерее ярких типов университетской среды и так называемого „высшего света“ Вильны, увековеченных автором, ни критически освещать начерченные им портреты петербургских друзей и встречных знакомых. Ограничусь лишь несколькими строками по поводу очерка, центральной фигурой которого являлся Пушкин.

---

<sup>1</sup> Называется она: «Puszkın Aleksander Siergiejewicz umarł 29 Lutego 1837 г. w 37-m roku życia». Статья датирована 2 января 1849 г.

Настоящего знакомства между последним и доктором Моравским, в сущности, не было, и всё сводилось к ряду случайных встреч, правда, довольно частых, как говорит мемуарист, который, вдобавок, не скрывает, что русский поэт не возбуждал в нем симпатии и желания более близкого общения. Всё же сообщения и впечатления Моравского, поскольку они исходят от него самого и основаны на личных наблюдениях, обогащают громадный материал к будущему жизнеописанию Пушкина несколькими новыми штрихами и деталями, а в отношении его иконографии тут перед нами даже совершенно новый факт. Хуже дело обстоит там, где Моравский черпал из других источников, и, например, невероятно грубая французская фраза, вложенная в уста смертельно раненого поэта при возвращении домой после роковой дуэли, навряд ли соответствует истине. Впрочем, ведь и всё описание дуэли, как мы видим, далеко от точности в деталях, и Моравский тут только передает рассказы третьих лиц, обычно подвергающиеся большим изменениям при передаче от одного к другому.

Говоря о новом факте в области пушкинской иконографии, я имею в виду рассказ Моравского о виденном им в мастерской живописца Валентина Ваньковича писанном масляными красками портрете в рост Александра Сергеевича, о котором, если не ошибаюсь, в пушкинской литературе до сих пор никаких данных не имелось.

Главу о Пушкине в своих воспоминаниях Станислав Моравский именно начинает с этого портрета, впер-

вые столкнувшего автора с личностью знаменитого русского поэта. Повествование начинается сообщением, что вскоре по приезде в Петербург Моравский стал отыскивать давнишних своих виленских товарищей и знакомых, в том числе и живописца Ваньковича, который вместе с художником Викентием Смоковским (1797—1850), благодаря стараниям их учителя, профессора Яна Рустем (1770—1835), в 1826 году был отправлен за счет Виленского университета в Петербургскую Академию художеств для завершения их художественного образования. В мастерской Ваньковича Моравский увидел портрет Пушкина, парный с известным портретом Мицкевича того же художника. Посещение Ваньковича изложено настолько подробно, а изображение Александра Сергеевича описано так детально, что о каком-нибудь недоразумении, конечно, не может быть речи.

Портрет Адама Мицкевича работы Ваньковича действительно, как верно указывает Моравский, пользовался чрезвычайной популярностью и был воспроизведен множество раз<sup>1</sup>. Молодой польский поэт здесь представлен в черкесской бурке, с обнаженной головой и развевающимися волосами, опирающимся о скалу — намек на недавнее его путешествие в Крым,

---

<sup>1</sup> Существует с него прекрасная литография, помеченная литерами W. W. и 1828 годом, исполненная, быть может, самим Ваньковичем. Замечу кстати, что в том же году в Петербурге писался маслом еще один портрет Адама Мицкевича вышеупомянутым Посифом Олешкевичем.



плодом которого явились „Крымские сонеты“, напечатанные в Москве в 1826 году. Этот романтический образ был не только в духе времени, но и самого живописца, романтика по натуре, полумистика, увлекавшегося теориями Сен-Симона и Фурье и сделавшегося впоследствии приверженцем мистика Троянского, который сыграл такую значительную роль в жизни Мицкевича и всей польской эмиграции середины прошлого века. В подобном романтическом вкусе, повидимому, был скомпанован и портрет Пушкина. Вместо бурки тут отмечен широкий плащ с клетчатой подкладкой, вместо скалы — тенистое дерево, под которым поэт стоит в раздумьи. Портрет Мицкевича мог писаться только в самом начале 1828 года, так как поэт уехал из Москвы в Петербург в конце ноября 1827 года, а в феврале 1828 года уже оттуда возвращался. Ко второму же путешествию Мицкевича в Петербург, имевшему место в апреле 1828 года<sup>1</sup>, портрет уже был готов, так как Моравский после описания визита у Ваньковича продолжает свой рассказ словами: „Вскоре затем давнишний мой приятель Мицкевич, прибывший на постоянное жительство...“ и т. д. Таким образом, и парный портрет Пушкина, по всей вероятности, был создан приблизительно в то же время, т. е. в самом конце 1827 или в начале 1828 года. Время самого первого пребывания Мицкевича в Петербурге в 1824 году, до ссылки

---

<sup>1</sup> Sm. Józef Kallenbach. Adam Mickiewicz. Львов. Институт им. Оссолинских, 1923, т. I.

в Одессу, отпадает, так как в то время Ванькович еще был в Вильне.

Что стало с виденным Морабским портретом Пушкина? На счет его судьбы можно лишь строить догадки, ибо никаких данных в нашем распоряжении не имеется, и не существует еще пока подробной биографии<sup>1</sup> Ваньковича. Академии художеств, где он в 1827 году получил вторую золотую медаль за картину „Подвиг молодого киевлянина“, художник не окончил и в 1830 году вернулся в свое родовое имение Калужице в Игуменском уезде Минской губ. В 1841 году Ванькович отправился за границу, сперва в Дрезден, потом в Париж, где его и настигла смерть. Судя по портрету Мицкевича, который оказался впоследствии не у семьи поэта, а в собрании графов Чапских<sup>2</sup>, тоже помещиков Минской губ., надо полагать, что холст был увезен Ваньковичом из Петербурга в свое имение. Вероятно, так же поступил он и с портретом Пушкина, раз оба холста, совершенно одинакового размера, были задуманы как парные. Во всяком случае трудно допустить, что портрет, остав-

---

<sup>1</sup> В 1928 г. вышла в Ковне на литовском языке монография о „Виленской живописной школе“ Паулиуса Галауне, директора картинной галлерей им. Чурляниса, под заглавием „Wilnians Meno Mokykla (1793—1831)“. В этом издании уделено несколько страниц и В. Ваньковичу, но о портрете Пушкина кисти художника там нет упоминания.

<sup>2</sup> D-r J. Mycielski. Sto lat dziejow malarstwa w Polsce 1760—1860. Краков, 1902, изд. 3-е, стр. 169.

шись в русской столице, исчез бы бесследно и не оставил бы о себе никаких сведений. В глуши же белорусской губернии картина, конечно, могла легко быть забытой и погибнуть, тем более, что там не все знали, кого она изображает. Но вдруг, по счастливой случайности, ценный холст еще хранится в каком-нибудь неопisanном провинциальном собрании под видом портрета неизвестного лица 20-х годов! Необходимо начать розыски в этом направлении, в первую очередь у потомков Валентина Ваньковича, которые, по сообщению вышеупомянутого польского историка искусств, покойного проф. Георгия Мыцельского, в начале текущего века жили в Кракове. Первые шаги в этом направлении мной уже предприняты.

Перехожу к остальному содержанию записок доктора Моравского.

В заключительном абзаце автор пытается дать оценку поэтическому гению Пушкина, в котором он лично может видеть лишь „очень гладкого и остроумного стихотворца, обладающего музыкальным ухом“. Признавая, что Пушкин обогатил и отшлифовал русский язык, сделал его более легким и изящным, польский мемуарист, по меньшей мере курьезно, всё же противопоставляет поэту Булгарина и особенно Сенковского, значение которых в данном отношении, мол, гораздо ценнее!

Наверяд ли есть нужда подробно останавливаться на этих суждениях Моравского. Аналогичные ляпсусы неоднократно случались у современников многих великих писателей разных стран, и в настоящий момент излишне полемизировать с литературными вкусами

польского врача, знакомство которого с русской литературой, вероятно, вообще было среднее, хотя он был человек разносторонне образованный.

Но, с другой стороны, навряд ли можно полностью отделить литературную оценку Моравского от его отношения вообще к Пушкину. Бесспорно, во всем подходе к нему мемуариста сквозят какие-то недружелюбные ноты, повсюду чувствуется некая предвзятость, которую нельзя объяснить одним лишь провинцизмом автора. Полагаю, что тут скорее сказалось отражение враждебной атмосферы антипушкинского лагеря, к которому прикасался Моравский. Мы знаем, что он был дружен с Сенковским, о котором имеется отдельный очерк в данном томе воспоминаний, что он близко знал Булгарина, и весьма правдоподобно, что он подвергался влиянию этих ярых антагонистов Пушкина. Убеждает в этом, между прочим, и упрек, брошенный русскому поэту, что он был склонен к литературным спорам и интригам — упрек, отдающий инсинуацией булгаринской клики.

Благодаря личному знакомству с Дантесом, Моравский очутился в антипушкинском лагере и в деле романа Наталии Николаевны, и тут нельзя не прислушаться к голосу польского мемуариста. Интересна его характеристика Дантеса и важно свидетельство очевидца о ежедневных прогулках последнего с супругой поэта в Летнем саду. Ценно и всё, что непосредственно зафиксировано наблюдательным глазом врача о наружности Пушкина, о неряшливости его костюма и обуви, так сильно, повидимому, коробив-

шей франтоватого, судя по его портретам, и всегда элегантно Моравского. Эта склонность к внешним салонным формам и заставляет его подчеркнуть отсутствие аристократических манер у Пушкина, которые, действительно, не очень вязались бы с его кипучим темпераментом и подкупающей его непосредственностью. Прекрасной иллюстрацией к описанию нескладной походки Александра Сергеевича данному Моравским, может служить необычайно живой рисунок с шагающего поэта<sup>1</sup> неведомого автора на странице альбома генерал-майора Ил. Ив. Челищева. Как раз о низком росте и характерной фигуре поэта часто забывали позднейшие художники, изображавшие Пушкина — напомним, например, известный рисунок В. А. Серова — обычно очень стройным и чересчур элегантным.

В целом, таким образом, пушкинская глава из воспоминаний доктора Моравского должна найти себе место среди материалов, оставленных нам современниками Александра Сергеевича, мимо которых пушкиновед не может пройти без внимания.

К сожалению, шаги, предпринятые мной с целью по возможности получить от потомков Ваньковича какие-нибудь сведения о судьбе его пушкинского портрета, не дали покамест никакого результата. Мне удалось списаться с правнучкой художника г. Яниной Цехановской, урожденной Ванькович и

<sup>1</sup> Воспроизведен и описан в издании „Пушкинский музей Александровского лицея 1879—1899“ под ред. И. А. Шляпкина. Пет., 1899, № 45.

сотрудницей Ягеллонской библиотеки в Кракове, которая мне любезно сообщила, что в их семье и у других родственников имеется ряд портретов кисти Валентина Ваньковича, но исключительно семейного характера. Предание о существовании портрета Пушкина работы Ваньковича издавна имеется в его семье, но холст этот всегда считался затерянным.

Должно еще заметить, что в середине прошлого столетия в польских художественных кругах память о данном портрете, повидимому, совершенно исчезла, на что указывает изданный в Варшаве в 1857 г. третий том капитального „Словаря польских живописцев“ Эдварда Растваеджкого. Этот, обычно исключительно хорошо осведомленный коллекционер и знаток искусства в своем списке портретов, исполненных Валентином Ваньковичем, ничего об изображении Пушкина не упоминает. Вообще Растваеджкий указывает лишь на один русский портрет польского художника — миниатюру гр. Сергея Григорьевича Строганова, писанную в Минске в 1831 году, которая в свое время хранилась в собрании А. Монюшко в Смиловичах<sup>1</sup>.

## II. Эттингер

---

<sup>1</sup> После того как настоящая статья была написана и прочитана в качестве доклада в заседании Пушкинской комиссии Общества любителей русской словесности, М. Д. Беляев удостоверился, что считавшийся автопортретом Пушкина рисунок карандашом, хранящийся в рукописном отделении Публичной библиотеки СССР им. Ленина, является работой Ваньковича. (См. об этом статью М. Д. Беляева „Новые портреты Пушкина“ в „Красной панораме“ 1929 г., № 22.)

## ПЕРЕВОД ГЛАВЫ О ПУШКИНЕ ИЗ ВОСПОМИНАНИИ Д-РА СТАНИСЛАВА МОРАВСКОГО

... Придя к Ваньковичу, я был представлен его чрезвычайно милой супруге, ради которой я с удовольствием присоединился бы к его позднейшим теориям об общности жен, затем мы перешли в его мастерскую. Среди картин, развешанных по стенам, в глаза бросились два больших портрета, стоящих на мольбертах друг около друга.

Одним из них был тот созданный в счастливую минуту портрет Мицкевича в бурке, опирающегося на скалу, — портрет, который впоследствии сделался столь же популярным, как сам Мицкевич. В этом портрете художнику удалось идеализировать и украсить лицо нашего поэта и вместе с тем сделать его совершенно похожим. Я с радостью смотрел на это произведение кисти художника-земляка.

Рядом стоял второй портрет совершенно одинакового размера. Он изображал мужчину, закутанного в широкий плащ-альмавиву с клетчатой подкладкой и стоящего в созерцании и раздумьи под тенистым де-

---

<sup>1</sup> Глава о Пушкине переведена полностью с опущением лишь нескольких мест, не имеющих прямого отношения к теме.

ревом. Лицо очень неприветливое; цвет его какой-то странный, но всё же инстинктивно можно было угадать, что он естественный; черты лица мало интересные, тем более, что портрет был сделан en face, лезущим в глаза; блики с тенями от дерева отчасти скользили по лицу, всё это вместе заставляло смотреть на полотно с некоторым отвращением.

„Кто это такой?“ — спросил я. — „Да разве ты не знаешь? Правда, ты только что сюда приехал. Это — Пушкин, и при этом похожий, как две капли воды...“ Поздравляю, — подумал я, — и в картине, и во внешности, и в произведениях Мицкевич выше, идет впереди Пушкина. Рассматривая другие портреты, я в одном из них узнал своего друга Станислава Хоминского, в то время красивого, как ангел, а всегда и до сих пор доброго, как ангел. Однако на портрете любезный мой Ванькович испортил эту чудную голову, что тем хуже было, что сделал ее похожей и одновременно исказил прокрасное девичье лицо. Я был поэтому уверен, что и Пушкин подвергся подобной метаморфозе. Не знаю, как стало впоследствии, но тогда Ванькович обладал отрицательным даром портретиста — схватывать сходство в ущерб лицу. Могу об этом говорить откровенно, так как он меня никогда не писал. Так я впервые столкнулся с чертами лица Пушкина.

Вскоре затем давнишний мой приятель Мицкевич, прибывший из Москвы в Петербург на постоянное жительство, запиской пригласил меня на обед в ресторан „Вокзал“ в Екатерингофе. Я поехал. Входя



в зал, я там застал уже амфитриона и еще нескольких лиц, среди которых одно, ставшее на свет, сразу напомнило мне портрет, виденный у Ваньковича. Это был Пушкин. Мицкевич сейчас же познакомил меня с ним. Обед давался Мицкевичем для его московских друзей, к которым он присоединил и петербургских литераторов. Присутствовали князь Вяземский, Дельвиг, Муханов, Полевой, приехавший на несколько дней из Москвы, и много других. Из поляков были только Франчишек Малевский и я. На этом мужском хотя и званом банкете, мы все были в сюртуках. Я не спускал глаз с Пушкина, сидевшего прямо напротив меня. Неряшливость его костюма, взъерошенные волосы — он был чуть плешивый — и бакенбарды, совершенно стоптанные каблуки и задние части сапог свидетельствовали более чем о небрежности — об обнищании. Мицкевич тоже не был франтом, но в его отказе от щегольства всегда были заметны какое-то достоинство, благородство и возвышенность. Цвет лица Пушкина был особенный. Это объяснялось примесью в его жилах негритянской крови Аннибала, которая даже после нескольких поколений еще продолжала загрязнять своей сажей наше славянское молоко.

Беседа была веселой и без педантизма. Мало о науках, кое-что о литературе и поэзии, никакого литературного злословия, много городских сплетен, больше о театре. Так мы и раз'ехались после изысканного, со вкусом приготовленного обеда. С тех пор мы часто встречались с Пушкиным. Кроме одного раза на балу,

я никогда не видел его в нестоптанных сапогах. Он не обладал никакими манерами; обращение его было такое, что никогда нельзя было догадаться, что это Пушкин, насчитывающий более ста лет дворянства. Много добродушия в обхождении. Он был низкого роста и при хождении нескладно волочил ноги, и шаг его был косолапый. Портреты его все похожи, но прикрашены. В литературных спорах, возбуждающих жалость в постороннем человеке и оправдывающих старинное изречение „о genus irgitable vanum“<sup>1</sup>, Пушкин охотно принимал участие и был очень прыток до тех мелких интриг, которые одна партия замышляет против другой. В разговорной речи он часто употреблял выражения мужицкого языка. Встречаясь с ним, я всегда чувствовал, что, по крайней мере, мне лично трудно было бы привязаться к нему как к человеку. Как поэта его можно было ценить и даже очень. В то время он в высшей степени был окружен энтузиазмом, восхищением и экстазом всей столичной публики. Вскоре он женился в Москве на Гончаровой, старого и богатого дядю которой, помещика Калужской губернии, я хорошо знал по особой причине.

Госпожа Пушкина была одной из самых красивых женщин в Петербурге. Лицо, свежесть, молодость, талия — всё за нее говорило и стоило русского поэта. Но и на ней сказалась итальянская поговорка: „Nel molino e la sposa, sempre manca qualche cosa“<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Раздражительное племя поэтов.

<sup>2</sup> В мельнице и в жене всегда чего-нибудь недостает.

Лицо было чрезвычайно красиво, но меня в нем, как кулаком, ударял всегда какой-то недостаток рисунка. В конце концов я понял, что, не в пример большинству человеческих лиц, глаза ее, очень красивые и очень большие, были размещены так близко друг от друга, что противоречили рисовальному правилу: „Один глаз должен быть отделен от другого на меру целого глаза“.

С Пушкиной всегда и повсюду бывала мадемуазель Гончарова, ее сестра. Двор, назначив Пушкина камерюнкером, оказал ему и его жене честь быть постоянно при дворе. После Парижской революции, которая вынесла на престол Луи-Филиппа, некий Дантес, молодой воспитанник военного училища в Сен-Сире, разыгрывая роль военного роялиста и ничем не поколебленного слуги Бурбонов, без гроша прибыл в Петербург. Николай I, узнав об этом, приказал представить его себе, и, поддерживая легитимизм, произвел его в офицеры кавалергардского полка, назначив ему, кроме жалованья, из собственных средств годичную пенсию в 6 000 рублей ассигнациями. Благодаря этому Дантес стал известен и интересен для всей столицы.

Это был молодой человек, ни дурной, ни красивый, довольно высокого роста, неуклюжий в движениях, блондин с небольшими белокурыми усами. В вицмундире он был еще ничего себе, но рядом с русскими офицерами, в особенности, когда надевал парадный мундир и ботфорты, мало кто завидовал его наруж-

ности. Вместе с тем, *bon enfant*<sup>1</sup>, ласковый и веселый парень, любящий карты. Последние сблизили его с членами Статс-секретариата Царства Польского, в особенности с моим приятелем князем Константином Гедройдем, первым секретарем легатства, у которого я часто бывал и там часто встречал Дантеса. В Петербурге тогда нидерландским посланником был барон Геккерн, фигурка невзрачная, черная, смуглая, худая. В сравнении си ными послами, он жил крайне скромно, хотя все утверждали, что он владеет огромным состоянием в банковых билетах всего мира. Ходили о нем иногда и злостные слухи, будто он принадлежал к нонконформистам и что полностью пренебрегал прекрасным полом.

В секретариате мы вскоре узнали, что барон Геккерн усыновил Дантеса, на что даже снискал монарший декрет. Дантес переехал на жительство к своему новому отцу. Одни говорили, что Дантес — племянник барона Геккерна, другие — что он сын его бывшей любовницы. Что было истиной — не знаю. Но так или иначе, Дантес с тех пор присоединил к своей фамилии и фамилию своего приемного отца. Поговорили об этом несколько дней и забыли.

Канцелярия Статс-секретариата в то время помещалась на Фонтанке, в доме Мижуева, в нескольких шагах от публичного сада, так наз. Летнего сада.

... Утомленные зноем африканского солнца в этой столице летом, мы иногда уходили подышать свежим

---

<sup>1</sup> Добрый малый.

воздухом в этом саду под тенью лип, посаженных рукой Петра Великого. Летний сад в Петербурге является для влюбленных счастьем, благодетелем, покровителем. Весной, когда еще нет ни одного листка, он полон гуляющих, летом никогда там нет живой души, кроме нескольких няnek. Весь город с весны переезжает в деревни, на дачу. Таким образом, в Летнем саду безопаснее всего совершаются любовные свидания. Каждая парочка соблюдает осторожность со своей вежливостью давнего рыцарства. Одни другому в глаза не лезет, так как каждый имеет в своем распоряжении больше дорожек, скамеек и места, чем нужно. Бывая там ежедневно, я в продолжение всего лета видал издали нашего Дантеса, сопровождающего в этом уединенном саду госпожу Пушкину, при которой, однако, почти всегда находилась ее сестра. Между Дантесом и Пушкиным как мужчинами была колоссальная разница. Пушкин в качестве мужа, уже освоившегося с супружеской жизнью, отказался от свяжих мелочей холостого мужчины, тех „*giens*“<sup>1</sup>, которые имеют такое значение для женщин, и еще больше опустил внешне. Дантес зато со дня на день становился всё более салонным и ловким. Мысленно я неоднократно жалел Пушкина, как супруга и мужчину. Я удивлялся уделу нашего пола, что даже великий поэт не в состоянии возбуждать в своей жене столько увлечения, чтобы у него, как у самого жалкого поденщика, не выросли рога на лбу. ||

---

<sup>1</sup> Пустяков.

n'y a pas de grand homme devant son valet de chambre<sup>1</sup>.

Пришла зима. Пушкин спохватился. Делал Дантесу ужасные сцены. Ревность тигра обуяла все чувства поэта с африканской кровью и, возрастая в геометрической прогрессии, дразнила врожденное неистовство и пылкость его души. Дантес искренне влюбленный, поступил честно. Видя всё это, он не нашел другого средства для совершения задуманного, как принести себя в жертву. Убедил Пушкина, что он сильно ошибается, признался, что влюблен, но влюблен в сестру жены. Ради этого даже просил его быть сватом. Пушкин поймал Дантеса на слове и, как утопающий за бритву, схватился за это. Сестра его жены от радости чуть не умерла, несколько раз падала в обморок, признание в любви приняла с поцелуем. Через несколько дней состоялось венчание, и Дантес оказался женатым, на всю жизнь связанным тяжелой непредвиденной цепью. Он взял это на себя лишь бы спасти любовницу от подозрений и грубых, быть может, даже кровавых, преследований. Казалось, что теперь всё пойдет хорошо.

О, люди, смотрите, что делает грех! Шила в мешке не утаишь! Вскоре Пушкин, будучи всё время настороже, нашел повод пощупать свой лоб и вновь там нашел позорящий его ненавистный отросток. На этот раз он, как бешеный, бросился на Дантеса и на Геккерна. В дьявольском письме он обоих осыпал

---

<sup>1</sup> Нет великого человека перед его лакеем.

кровными и позорнейшими обидами, намекая, между прочим, и на преступно-распутную между ними связь. Дошло до того, что одна лишь кровь могла смыть этот позор, только жертва жизнью одного могла дать другому залог спокойствия в будущем. Пушкин послал вызов. Дантес его принял. Три дня до этого, Дантес, ничего еще не подозревая, играл в моем присутствии у Гедройца в карты. Отправляясь в санках на дуэль, он встретился с нами на Невском проспекте и, проезжая мимо, что-то нам сказал, но мы слов его не расслышали. Из нас никто о дуэли не знал. Дантес стрелял первым. Пушкин упал лицом в землю. Дантес бросился его спасать. Но Пушкин с бешеным взглядом и зубовным скрежетом крикнул ему: „На место!..“ чуть поднялся, загреб под себя снег, прицелился в Дантеса и выстрелил... Упал и Дантес.

Секунданты подняли Пушкина и посадили раненого поэта в сани. Он ехал в убеждении, что убил соперника. Принужденный сойти с саней, он увидел льющуюся кровь, смешанную с мочей, и в неукротимом бешенстве и иступлении сказал: „Je voudrais bien, pisser de ce sang dans le cul ma catin!“<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Никто из гораздо ближе, чем Моравский, стоявших к Пушкину лиц даже не намекает на эту будто бы Пушкиным сказанную ужасную фразу. Кто мог передать ее Моравскому? Кроме Дантеса, никто не мог ее слышать. Мы считаем фразу эту апокрафической, прекрасно характеризующей отношение к Пушкину лиц, близких к его убийце. В их представлении Пушкин прежде всего очень грубый человек. П р и м. р е д.

Слова гомерические!

Привезли его домой. Легко себе представить положение жены, которую он на глаза не пустил. Зонд показал, что спиной хребет раздроблен и почки безнадежно ранены. Спасения не было. В три дня величайший современный русский поэт ушел в лучшую жизнь.

Всё, что жило в Петербурге, в особенности чернь и бороды, судорожно дышало яростной мезтью по отношению к Дантесу. Никого из малых, как и великих, нельзя было убедить в том, что Дантес не был убийцей. Хотели даже броситься на хирургов, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут были заговор и предательство, что ранил его иностранец и иностранцами пользовались для лечения поэта. А Дантес? Пуля ударила в его пуговицу. Эта пуговица спасла его от смерти! Судьба! Контузия сразу так захватила у него дух, что он упал в обморочном состоянии. Пока его расстегнули, вся грудь уже посинела и распухла, как бомба. Он сейчас же был посажен в крепость, а потом, когда вылезлся, ночью тайком был вывезен за границу. Боялись, чтобы ожесточенный народ не разорвал его на куски. Барон Геккерн тоже был отозван с поста посланника. Хотя теперь энтузиазм уже слабеет, горизонт наш расширился, всё же до сих пор, и в известной степени правильно, считают Пушкина величайшим русским поэтом...

Возможно, я всегда ошибался, возможно я ошибаюсь и теперь, но я его всегда считал и продолжаю считать стихотворцем гладким, остроумным и обладающим му-



зыкальным ухом. Что лучшего до сих пор не было в России, это не довод, и это совершенно иной вопрос. Вне всякого сомнения, Пушкин усовершенствовал, выгладил язык, сделал его более легким и изящным. Но в этом, пожалуй, больше для России сделал наш поляк Булгарин, а наверно в стократ больше Сенковский, который, прекрасно владея более чем десятью живыми и мертвыми языками, при необыкновенных своих способностях, из каждого языка кое-что вводил в русский и таким образом без макаронизмов<sup>1</sup> смягчил его, сделал пригодным для салонов и для научных и наисерьезнейших статей, так что теперь этот язык является одним из самых прекрасных и богатых живых языков<sup>2</sup>. Почти такого же мнения был и славный муж Сперанский, а он ведь понимал в этом толк. Мое мнение здесь не имеет веса, всё же мне кажется, что потомство и даже следующее за нами поколение скажет о Пушкине то же самое, что я. Когда еще не существовало раздела между классицизмом и романтизмом и никто о нем и не подозревал, я, учась в школе риторике и поэзии, при переводе каждой оды Горация говаривал: „Нет, это не ода, если

---

<sup>1</sup> „Макаронизмом“ по-польски называется напыщенный род речи, почерпнутый из иностранного, преимущественно латинского языка.

<sup>2</sup> По поводу этой высокой оценки значения Сенковского в развитии русского языка вспоминаются слова Пушкина, когда он узнал, что Сенковский исправляет слог Д. В. Давыдова: „Сенковскому учить тебя русскому языку всё равно, что евноху учить Потемкина“. Прим. ред.

одой должно быть то, о чем мы читаем в правилах красноречия и поэзии, и то, что вы нам преподаете о природе оды“. И теперь после стольких лет я не стыжусь и не колеблюсь каждому сказать в глаза, что Гораций был гладчайшим стихотворцем, часто очень остроумным, но никогда не был и даже не мог быть поэтом. Если иные не постыдятся, то наверно осмелятся сказать то же самое вслух.

Пушкин мало учился. Лишь изгнанники из Литвы, а в особенности Мицкевич, Малевский и несколько других, которые были с ним в Москве в постоянных сношениях, открыли ему глаза и, как Полевого, практически навели на то, чего недоставало этим обоим необыкновенным в России мужам для образования их талантов.

Будем справедливы. И Пушкин и Полевой до смерти сохранили дружбу к этим нашим землякам...

---

МОСКОВСКИЙ  
ПУШКИНИСТ

II

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ  
Под редакцией  
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»  
МОСКВА — 1930

*lib.pushkinskiydom.ru*